

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Шевцов К. П.

**Продолжение в другом.** (Реконструкция медиа-пространства). 2-е изд., испр. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2009.

ISBN 978-5-93597-078-9

Редко в малотиражном море необязательной философской литературы встретишь такое точное и концептуально выверенное иллюстрирование книги. Издатели использовали фотографии классика петербургской фотографии Станислава Чабуткина. На обложке книги фотография «Вода и камень», указующая на нерв содержания книги: противопоставленность настоящего и прошлого, твердой памяти и зыбкого забвения, души и тела, я и другого. Не менее интригует сопоставление двух фотографий Верхнего парка Петергофа, снятых с одной точки зимой и летом. В покрытых снегом газонах и забранных в деревянные ящики скульптурах автор предлагает вспомнить, что было на летнем снимке, что позволяет открыть то поистине неуловимое состояние работ фотографа, которое, говоря словами автора книги, позволяет одной фотографии «удерживаться в настоящем за счет другого, существовать и выявляться в другом». Диптих усиливается другой половиной: припоминанием и чувством неизбежной утраты открывающегося строгого вида классического регулярного парка.

Книга посвящена одной из наиболее сложных сквозных тем – как рационалистической, так и мистической, иррационалистической традиции европейской философии. Ее специфика определена балансированием между классическим и неклассическим путями изучения памяти. Задача автора – не столько в том, чтобы воспроизвести основные схемы философской реконструкции памяти, сколько в том, чтобы создать необходимый фундамент для переориентации временной аналитики. Пытаясь преодолеть сложившуюся двойственность – понимание мнемических процессов как идентичных мыслительным или, напротив, как специфических и автономных, – автор стремится построить целостную модель анализа, опирающуюся на универсальное основание человеческой чувственности, во-первых, и определяющуюся интерсубъективной направленностью, во-вторых.

Автор вполне однозначно определяет свою методологическую базу, выбирая в качестве необходимых условий собственного рассуждения концепцию субъективного времени Августина, длительности Бергсона и временную аналитику Гуссерля. Эти три концепции дополняются хайдеггеровской аналитикой *Dasein*. Все остальное психоаналитическое и постструктуралистское мировоззрение, психологические исследования памяти служат материалом, дополнительным критерием верификации, но не влияют на самостоятельность авторской интуиции. Книга в итоге претендует на серьезную теоретическую новизну и, вполне возможно, является попыткой легитимации особого типа дискурса.

Реконструируя постановку проблемы памяти в философии А. Бергсона, автор рассматривает два вида памяти. Первый целиком зависит от усилий повторения и буквально представляет не что иное, как *запоминание*; другой избегает повторения, запоминания, воспроизведения, тяготея к уникальным вещам и уникальным событиям. Первый вид памяти – функциональный, второй – сущностный; интрига в том, что повторение, которое, на первый взгляд, является принципом различения этих двух форм памяти, в действительности образует единственный состав и материальное основание памяти вообще. Автор определяет память второго типа как память самого прошлого, как прошедшее настоящее, всегда являющееся двойником настоящего и отличающееся от последнего бездейственностью, бесполезностью, *виртуальностью*. Виртуальность воспоминаний второго типа «определена не тем, что мы не можем воспринимать их, но, напротив, тем, что мы можем их не воспринимать» (с. 18). Их бездейственность предполагает активный процесс торможения, удержания. В этой точке формируется одна из важных предпосылок дальнейшего рассуждения: с точки зрения автора, память предполагает систему отношений не только с тем, что произошло, но и с тем, что не смогло произойти и в этом качестве повлияло на произошедшее.

«Виртуальные» воспоминания онтологически не менее значимы, нежели воспоминания действительные, они взаимодействуют друг с другом и формируют структуру одного-в-другом, построенную на взаимопереходах и взаимонеразличении. С точки зрения автора, именно через соотношения этих двух видов памяти проясняется августиновский парадокс памяти и забвения. Забвение и есть пример «удивительного безволия», свидетельствующего о безоговорочном воздействии самой воли: «Мы забываем не просто какие-то детали, незначительные для нового настоящего, безразличные или неприятные и ранящие нас события. Сами эти раны, распределенные забвением в углублениях нашей жизни, создают аффективную длительность нас самих, а забытые детали придают плотность вещам, вещественную перспективу тех неизвестных еще сторон, которые могут и должны обнаружиться в будущем, чтобы прояснить, наконец, нечто существенное. Забвение не случайно являет собой пример какого-то удивительного безволия, как будто именно здесь мы оказываемся под действием самой воли, мгновенно убеждающей нас: не стоит задерживаться на мелочах» (с. 20). Автор полагает, что главный результат бергсоновской

аналитики времени и памяти состоит в утверждении того, что память не опирается на устойчивое основание произошедшего, что ее отношение к прошлому производно от принципиальной развернутости в направлении произошедшего и становящегося: «в этом превращении памяти мы обретаем вообще исходное отношение к другому, предчувствие другого. Память, таким образом, и есть по существу это предчувствие, которое выводит настоящее за рамки присутствия и отсутствия, непосредственности или опосредованности, устанавливая природу этого настоящего как особого превращения, превращения в "это", в место настоящего, в котором само время могло бы совершиться как какая-то история встречи» (с. 26).

Та же тема разрабатывается автором на материале временной аналитики Э. Гуссерля. Парадокс ретенциальной структуры сознания состоит в феномене «презентативного конституирования Прошлого», то есть в производстве новых содержаний, хоть и исходящих (уходящих) из Теперь, но принципиально чуждых присутствию. Автор разрабатывает все то же обращение: уход – это не разлука с близким, но мгновенная встреча с чужим, и утверждает, что дрейф точек Теперь на гуссерлевской схеме означает не столько синтез «чистого» настоящего, сколько открытие доступа к истории этого настоящего: «Потеря, которая оказывается принятием, забывание, которое готовит новое восприятие, образуют тот качественный переворот в проживании времени, который позволяет вкладывать в последовательность состояний единство места, необходимое для нахождения себя, припоминания и удержания себя как субъекта памяти в самом разрыве настоящего, в переходе от ушедшего момента к новой точке Теперь» (с. 32).

Указанное обращение позволяет автору приступить к введению собственных понятий: продолжение – место настоящего – место памяти. Пафос последнего термина состоит в тщательном избегании языка наличности. Место – это не то, что есть, оно всегда – «место превращения», «возникающее и образованное». В рассуждении Гуссерля автор также фиксирует различие двух типов памяти, устанавливая сущностную аналогию между бергсоновской «памятью самого прошлого» как виртуальностью и гуссерлевской «первичной фантазией», образной составляющей всякого настоящего акта, отсылающей к глубине феноменального как место-имению, где любая личностная идентичность возможна только вследствие присвоения памяти.

Анализ памяти в контексте проблематики длительности подводит автора к постановке проблемы чувственного опыта и его роли в конституировании мнемических феноменов. Так, в частности, в главе, названной «Первичное пространство», автор интерпретирует результаты исследования памяти мнемониста С. В. Шерешевского, проведенного А. Н. Леонтьевым и А. Р. Лурией, выделяя следующие значимые аспекты. Во-первых, сложность представляет не запоминание (объем памяти мнемоников неопределен), но забывание; во-вторых, память Ш. совершенно спонтанна и автономна в отношении самого мнемониста; в-третьих, тело мнемониста переживается им самим фантазматически и непосредственно

участвует в процессе запоминания: образы кодируются, как в сновидении, одни закладываются за другие, в итоге формируется сложная система означиваний и синестезий. По мнению автора книги, эти исследования, глубоко прорабатывая чувственный аспект памяти, подтверждают теоретический опыт: субъект памяти не располагает ни суверенностью, ни первым лицом. Он конкретизируется только в закладе, поскольку заложенным оказывается некое «себя» – фигура возвратного местоимения рассматривается автором как ключевой момент в современном опыте самоидентификации субъекта, позволяющий переосмыслить старые категории «внешнего» и «внутреннего». «Внутреннее» и «внешнее» не должны рассматриваться в строгом разделении. Они взаимопереплетены и рассматриваются как моменты *приготовления* (термин автора): чувственность тела готовится памятью, тогда как тело, становясь чувствующим, активно формирует историю памяти. Собственно, память «определяет возможность быть целым, не только узнавать себя в тех или иных состояниях, но и собираться также вовне-себя, возвращаться из состояний потери и забывания, обретая себя в качестве эффекта целого, в качестве события продолжения по ту сторону растраты себя в каждом из мгновений настоящего» (с. 148).

Работа с телом позволяет далее перейти к проблеме устойчивости формы восприятия, а вместе с тем и к важнейшему вопросу о соотношении памяти и совокупности телесных практик, из которых первостепенное внимание уделяется коммуникативным практикам. Феномен эйдетизма у детей и топографическая память примитивных народов говорят о полной неразличности памяти и всей системы восприятия, предъявляют память как тело-историю. Чрезвычайно убедительна и эффектна история о внуке Дарвина, сопоставленная с классической историей о внуке Фрейда. Наблюдая за игрой Эрнста, Фрейд делает вывод о том, что наша психика пользуется неким первичным диалектическим языком, выговаривая с его помощью фундаментальные события присутствия и отсутствия. Fort/da в этом смысле – не что иное, как принцип различения. Эпизод, рассказанный Дарвином, несет в себе совершенно иные импликации. В этом случае мальчик именуется звуком «уа» потрясшее его зрелище утки, плавающей в озере. Последовавшая за этим созерцанием языковая работа показывает, как звук «уа» превращается в сложную матрицу переживания, запоминания и описания самых разных вещей мира. Автор считает этот процесс сущностным и определяет его с помощью термина «артикуляция». Артикуляция рассматривается автором как универсальный режим чувственности, где пространство и время взаимопределяются во встречаемости, выделяя возможность собственного места субъекта: «То, что доставляет удовольствие говорящему, помимо птиц, на которых он указывает, или монет, которыми играет, – это сам звук, его произношение, что-то, что происходит в этой повторной артикуляции одного и того же звука. Это то, что совершается в самом субъекте и в чем совершается он сам. Очевидно, что повторяется лишь то, что следует некому образцу, отпечатку, следу, в котором отсутствующий другой оживает в мгновении

ном присутствии, чтобы предоставить говорящему возможность восполнить его отсутствие. Субъект ощущает себя этим продолжением и, повторяя вроде бы бессмысленный звук, одновременно вводит в присутствие себя и другого. Этот звук – своего рода обращенное к другому лицо субъекта, невидимое, но звучащее» (с. 138). Рассматривая артикуляцию как исходную обращенность языка к чувству, автор предлагает также весьма любопытное толкование нарративности. Память исполняется в действии рассказывания, а последнее есть свидетельство и передача «себя» другому.

Итак, фундаментальная идея автора – развернутая инверсия памяти, конституирование ее из ее ближайшего. Попытка реконструировать механизмы памяти, минуя традиционную альтернативу репродуктивности-продуктивности: дать памяти рассказать о себе исключительно с позиции имманентности, проникнуть в ту пресловутую точку, где память взаимодействует с забвением, где она может помнить саму силу забвения, которой стирается все запоминаемое. Эта августиновская максима, судя по всему, определяет проблемный горизонт исследования. Память – то, что по определению не обладает достоверностью присутствия, ее единственная реальность – связь уходящего и наступающего, в ее основе – парадоксальный опыт никогда-не-данного. И, тем не менее, именно память оказывается онтологической силой, создающей субъекта в его связях с чувственностью, языком и миром. В итоге возникло связное дискурсивное построение, ориентированное на хайдеггеровскую аналитику *Dasein* и полемическое по отношению к феноменологическому, деконструктивистскому и психоаналитическому пониманию памяти.

Эффективность подобного рода дискурсивных инструментов демонстрируется во второй части книги, где собраны статьи, посвященные вопросам восприятия визуальных образов, а также – способу взаимодействия знака и образа в структуре повествования. Как и в первой части книги, основное направление анализа – демонстрация сцепления памяти и чувственности, позволяющая вложить в материал своеобразную длительность тела, а вместе с тем и телесный смысл выявления образов как конструктивных событий самой субъективности. Автор находит возможным говорить о некоей внутренней взаимной артикуляции чувств, порождающей специфическое переживание бытия в-себя, в-другом, без которого не может состояться понимание образа как свидетельства другого настоящего, как особого модуса времени, сопутствующего субъективному времени, но не сводимого к простой одновременности. Однако при всей фрагментарности конкретных исследований налицо прочная связь с основными концептами, разрабатываемыми автором в первой части книги.

***Иваненко Алексей Игоревич***

*кандидат философских наук, доцент кафедры  
истории и философии СПбГТУРП  
(технологический университет растительных полимеров),  
г. Санкт-Петербург*